например из перевода Гозвинского (по списку ГПБ, собр. Погодина, № 1964) и перевода Кашинского (ГПБ, Q.XV.16).

Так, в басне о пастухе и море:

Зиме же зелней сущи и кораблю бедствующу погрузитися, — вся своя бремена и мехи изверже в море, едва токмо сам караблем праздным избавися (л. 80).

А когда великия ветры встали, хотя, чтобы ему струга не заливалось, товар с нево выкинул, насилу сам ушол (л. 66 об.).

Или в басне о комаре и льве:

Рече: «Кая ти есть сила и крепость, яко дереши ноктями и грызеши зубами? Сие и жена с мужем бранящися творит. Аз же зело есмь сильнейши тебе. Аще же хощеши, — изыдем на брань!» (л. 105—105 об.).

Молвячи: «Хто сы таков есть, что за богатырь, что зубами кусаешь, а нактями дережь? Бабье то дело есть, которые мужам своим так бронятца. А я сильнейши тебе, которой тебя могу окрававить. Бейся со мною, аще хочешь!» (л. 97 об.).

И даже в сентенциях, как например назидание к басне о бобре:

Человецы разумнии ради своего спасения имения не щадят (л. 72).

Великоя то мудрость — для набытия и здоровья своего не жалеть денег, аки старые люди сказывают: лутчи утерять ожерелье, нежели целый ковтан (л. 62).

Переводы опираются на различные, внутренне полярные структурно-образные системы. Они противостоят уже не только элементами языка, а и самими способами раскрываемых в них мыслительных представлений — рядами образов и предметов, следующих в потоке повествования.

Атмосфера рационалистической точности и сдержанности языка и серьезный, строгий тон изложения как бы ограждают перевод Гозвинского от всего случайного и преходящего, превращая его в кодекс всеобщих, непреложных и вечных нравственно-этических истин. Но это же являлось отказом от экспрессивно-динамических и, в конечном счете, более изобразительных и картинных средств языка.

Напротив, в переводе Кашинского разговорная речь стихийно оборачивается большей энергией повествования, живописующей интенсивностью действия и его колоритной окрашенностью. Конечно, еще нет оснований говорить об особых, изобразительно-характерологических, т. е. собственно эстетических функциях языка в тексте Кашинского, однако в нем вполне явственно стихийное вторжение цепкой образности и экспрессии народной речи.

Но переводы не были единственными источниками жанровой фабулистики в России и не исчерпывали круга басенных сюжетов, знакомых читателям допетровской эпохи. Тотчас же за первым переводом Эзопа являются опыты самостоятельного изобретения басенных фабул по повествовательным образцам «Притч или Баснословия Езопа Фриги». Одна из таких басен, например, находится уже в рукописи 1610-х годов (ГИМ, собр. Уварова, № 170, лл. 72 об.—73), в списке, восходящем к черновой редакции перевода Гозвинского:

Кот, мыши и торокан

Некогда збирающемся мышам и слышавше торокана зело шумяща, и разуме животное коту быти. И хотящим им розно бежати, и умыслища едину послати от мышей, что есть за шум.